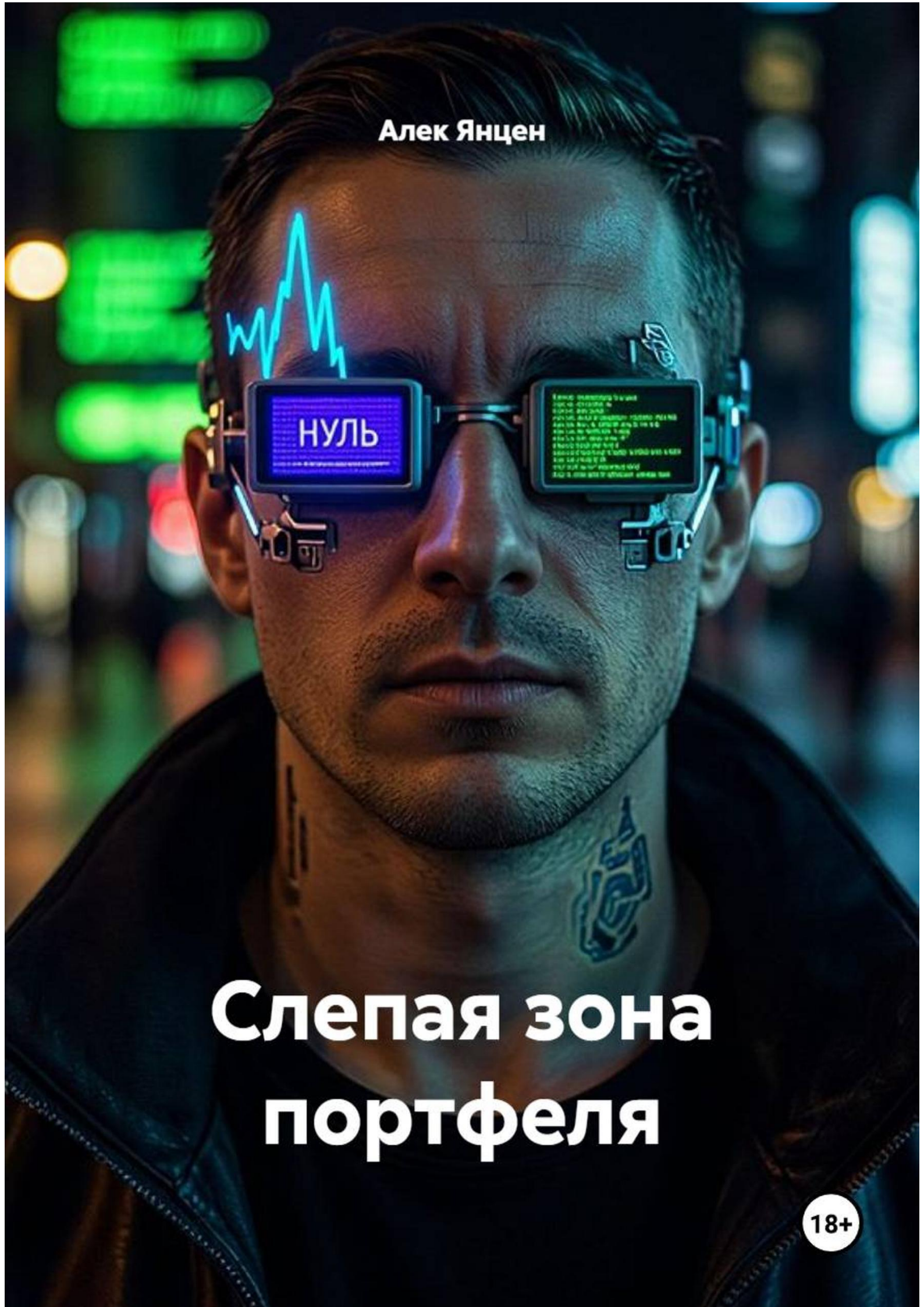

Алек Янцен
НУЛЬ
Слепая зона портфеля
18+

Алек Янцен

Слепая зона портфеля

«Автор»
2026

Янцен А.

Слепая зона портфеля / А. Янцен — «Автор», 2026

Виктор Стейнер видит рынок через импланты в глазницах и не ошибается ни в чём, кроме одного: сколько стоит страх. На ленте появляется актив «Нуль» — без эмитента, без цены, без продавца, — который растёт от разговоров и копирует кривую кортизола самого Виктора. Диагноз, который не даёт ни один протокол: пятьдесят один процент всей погоды рынка — это гормональный фон одного человека. Чтобы убить зверя, Виктор должен отдать всё — имя, зрение, кнопку — за ноль, без возврата. Очередь начинается сейчас.

© Янцен А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пульс Мидас-авеню 6
Глава 2. Второй замок 9
Глава 3. Анатомия жадности 12
Глава 4. Тень на графике 16
Глава 5. Третий ключ 19
Глава 6. Лаборатория пустоты 22
Глава 7. Цена взгляда 25
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Слепая зона портфеля

СЛЕПАЯ ЗОНА ПОРТФЕЛЯ
роман

Глава 1. Пульс Мидас-авеню

Я буду у экрана с этой стороны. Я буду тем, у кого средств всегда достаточно. Я не буду в очереди. Я буду очередью.

— Клятва Виктора Стейнера, четырнадцать лет

Боль приходила на семьдесят секунд раньше будильника — ровно за минуту двадцать до открытия Токио, потому что правый имплант всегда калибровался хуже левого, и именно он первым начинал звенеть, как натянутая струна, вглубь глазницы, туда, где нерв встречался с проводом.

Виктор открыл глаза.

На потолке, на серых обоях, на собственных руках — всюду дрожали цифры. Токийская сессия грузилась медленно, с той ленивой вязкостью, которую он ненавидел: 3:58:50 по местному времени, и кольцо котировки Nikkei уже горело на сетчатке бледно-зелёным, значит, Азия просыпалась жадной. Хорошо. Жадность — единственное сырье, из которого он умел делать деньги.

Он сел. Матрас скрипнул один раз — он купил его за огромные деньги и запрещал себе слышать второй.

Кухня была белой. Не «светлой» и не «стильно-белой», а именно белой, как столовая в морге: стол без скатерти, один стул, одна тарелка, одна вилка, поставленные на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга — он измерял линейкой, когда въезжал, и с тех пор рука сама находила это место в темноте. Холодильник гудел с достоинством дорого гроба. Внутри: бутылка воды, два контейнера с едой на сегодня, йогурт с датой, которая истекала сегодня же, — он выбросил йогурт, не открывая. Не из-за вкуса. Из-за даты. Он не переносил вещей, которые перестали соответствовать своим цифрам.

Стакан он поставил на стол. Пристроил. Сдвинул на полсантиметра влево — и вся утренняя арифметика рухнула: пришлось вернуть, поставить снова, проверить. Проверить. Всегда проверять.

«Ты болен», — сказал он себе голосом, который давно перестал быть голосом и стал функцией, как термометр. — «Это не дисциплина. Это страх, надевший пиджак».

Он не ответил голосу. С этим внутренним делопроизводителем он держал отношения ровно те же, что и с налоговой: слушал, не подписывал.

Под полом гудело. В подвале бункера стояли его серверы — три стойки, которые он ласково, в одиночестве, называл «хором», — и их тёплый выдох поднимался сквозь плитку, пах перегретым кремнием, озоном и чуть-чуть — металлической слюной. Иного запаха в квартире не было. Кофе он заваривал, но не пил: сердце с имплантами не дружило, а совесть свою он не кормил с прошлой среды.

Виктор ел, глядя в стену, где поверх обоев — обоев он не помнил ни цвета, ни рисунка — ползла живая лента: AUD/USD, EUR/JPY, фьючерсы на никель. Мир за окнами этого не знал. За окнами стоял Мидас-авеню, и для Виктора это был серый шум: тридцать восемь стеклянных башен, дрожащих на высокой частоте от миллиардов микросделок, — так вибрирует струна рояля, по которой мимоходом провели грязной ладонью. Люди на авеню, когда он изредка спускался к лифтам, казались ему расфокусированными: смазанные лица, дешёвые ткани, дешёвые жесты. Зато их портфели он видел в мельчайших подробностях — анатомию чужих денег, как рентген видит трещину в кости.

Вот, например, женщина из кофе-бара на первом этаже — он однажды посмотрел: ипотека под восемь, автокредит, страховка от всего на свете и мечта, застрахованная отдельно. Смотреть было интересно секунд пять. Потом стало тошно, потому что во всех этих строчках

читалась одна и та же душа, заасфальтированная, как его собственная, только без асфальтоукладчика за восемь нулей.

Часы на сетчатке перескочили на 4:02:00.

Виктор допил воду, помыл тарелку — горячей водой, дважды, — вытер, поставил в сушку ровно, и только после этого, стоя в белой кухне, скрестил руки на груди и произнёс вслух, в пустоту, короткое:

— Работаем.

Серверы внизу вздохнули глубже. И на стенах, и на потолке, и в самой глазнице — там, где раньше была сетчатка, а теперь был рынок, — развернулись свечи.

Зелёные. Красные. Красные. Зелёные.

Тридцать восемь башен Мидас-авеню дышали им навстречу, и он был их сердцем.

***

Миллиарды не смущали Виктора ровно так же, как рост не смущает дерево. Цифра на экране личного капитала — он держал её на второй странице, как постыдную — показывала сегодня утром сумму с восемью нулями после запятой и с одиннадцатью до запятой, и он не помнил уже, когда последний раз проверял её целиком, не разбив на разряды. Деньги перестали быть деньгами. Они стали размером одежды: ты либо влезаешь, либо нет, и говорить об этом неприлично.

Неприлично было и остальное: что ест он по расписанию, спит по протоколу и ни разу за девятнадцать лет не позвонил никому просто так. Неприлично, что его единственный друг — человек с латексными перчатками и сервисным ноутбуком, который раз в квартал приходит чистить ему импланты, как чистят аквариум.

Марк. Нейрофизиолог. Единственный, кто знал, где у Виктора болит и где прошит.

Но об этом позже. В 4:07 без двадцати секунд открылась Токио, и Виктор забыл, что у него есть тело.

***

Флешбэк — удар, короткий, как остановка сердца:

…Мне было четырнадцать. Я стоял в очереди в отделении «Первого торгового», дышал в затылок человеку в вельветовом пиджаке, и от него пахло мокрой шерстью и несбывшимся. Отец держал меня за плечо — сильно, слишком сильно, так держат не сыновей, а перила. Экран перед окошком мигал красным. Всё, что на нём было написано, я помню до сих пор, хотя читать тогда не умел быстро, — помню по отцовскому лицу, которое отражалось в стекле поверх цифр: «Недостаточно средств».

Отец посмотрел на эту надпись так, как смотрят в шахту — снизу вверх, хотя она была ниже его.

Он сказал: «Всё, Витя. Ничего. Мы всё правильно делали, понимаешь? Правильно. Просто система…» — и не договорил, потому что где-то наверху, на большой визуализации, которой я потом всю жизнь буду завидовать и которую потом всю жизнь буду проклинать, схлопнулась очередная красная свеча. Схлопнулась тихо, беззвучно — свечи никогда не кричат. А отец поехал коленом, потом лбом по кафельному полу, и человек в вельветовом пиджаке отошёл на шаг, чтобы не запачкать брюки, и очередь сделала шаг вперёд, потому что очередь всегда делает шаг вперёд.

Врачи сказали: сердце. Но я видел экран. На экране было «недостаточно средств», и я понял то, чего не поняли врачи: система тоже может умереть. Нет. Не так. Я понял, что человек, у которого недостаточно средств, умирает первым — первым, тихо, в очереди, а мир делает шаг вперёд.

Той ночью я поклялся над его дешёвыми часами, которые ещё тикали в такт чему-то, чего в нём больше не было: я буду у экрана с этой стороны. Я буду тем, у кого средств всегда достаточно. Я не буду в очереди. Я буду очередью.

Он держал. Он всегда держал.

* * *

Часы показали 4:07:00. Токио открылась.

Виктор почувствовал, как в нём, в белой кухне, в белом свете, дрогнуло и налилось тёплой свинцом что-то под рёбрами — дофамин, сказал бы Марк, несчастная гормональная мелочь, — и красная свеча Nikkei выросла на его глазах, как рана.

Он улыбнулся. Впервые за день.

* * *

Глава 2. Второй замок

Капитал забирали все. Он забирал надежду.
— Из папки «Замки»

Портфель конкурента выглядел в глазах Виктора так, как выглядит обнажённое тело на анатомическом столе: кожа снята, мышцы разведены, и видно всё — каждую вену, каждый жировой узел, каждую раковую опухоль, о которой сам пациент ещё не догадывается.

К девяти часам утра по Мидас-авеню Виктор уже просмотрел четырнадцать таких столов.

Двенадцатый принадлежал Раймунду Кеттлеру, фонду «Арктур-капитал», человеку, который дважды в год отправлял Виктору открытки с альпийскими лыжными курортами — открытки, которые никто не просил, и это было мило, потому что Кеттлер не знал, что каждую его открытку Виктор хранит в папке с пометкой «хирургия, плановая».

Вот вена: 340 миллионов в суверенных бондах Перу, купленных по инерции, без собственной модели, на чужой аналитике, — артерия, питающаяся доверием к чужому мнению. Вот узел: валютный хедж, который Кеттлер выстраивал восемь месяцев и который хеджировал ровно не тот риск, от которого умрёт его фонд. Вот опухоль: маржинальное плечо, взятое у банка, который сам стоял по другую сторону этой сделки, — так не хеджируют, так покупают верёвку у собственного палача.

Смерть «Арктур-капитала» была выписана. Виктор держал рецепт в головной папке, озаглавленной одним словом: «Замки».

Он называл это Вторым замком.

Не то чтобы он изобрёл взлом. Взлом — ремесло, ремесло дешёвое, ремеслом занимались тысячи: серые мальчики в серых свитерах, ломающие чью-то биржевую дверь, пока дверь не заперта. Виктор презирал ремесло. Ремесло оставляло следы и удовлетворения не приносило, как не приносит удовлетворения кусок хлеба, проглоченный не жуя.

Второй замок был другим. Каждый портфель, каждый фонд, каждая счастливая семья чужого капитала имела в себе одну точку — маленькую, невидимую снаружи, но настоящую, как щель под дверью в крепости, которую строили тридцать лет: нечестный бэк-оффис, лживый аудит, кредит, переложенный из жадности, страх, спрятанный в структуру. Эту точку нужно было найти. Виктор находил её всегда — за ночь, за утро, за двадцать минут, если соперник был стар и самоуверен.

А потом наступала самая длинная часть работы.

Потом нужно было ждать.

Он не взламывал сразу — и вот это, понял он однажды, вслушиваясь в собственное сердце на белой кухне, было последней частью его, которая ещё оставалась живой. Ожидание было садизмом, но садизмом чистым, эстетическим, как у человека, который держит палец над единственной кнопкой и наслаждается самой возможностью не нажимать. Требовать выкуп у рынка — значит признать, что тебе нужны деньги. Виктор денег не искал. Он выжидал пик — день, час, ноль секунд, когда позиция конкурента дойдёт до наивысшего напряжения, до самого сладкого инфаркта графика, — и в эту секунду вбрасывал ордер, забирая не капитал.

Капитал забирали все. Он забирал надежду.

Человек, потерявший деньги, злится и нанимает юристов. Человек, потерявший надежду, садится на пол, между стулом и стеной, и остаётся сидеть. Виктор видел последствия — на лицах в кофейне, на открытках Кеттлера, которые переставали приходить. Кассирша из кофейни внизу — ипотека, автокредит, застрахованная мечта — не знала, что за четыре секунды, потраченные в прошлый четверг на её смену, исчез Фонд пенсионных обязательств северного порта, из которого её мечта получала десять процентов в год. Мечта ещё работала в ней — как радиостанция, которую уже закрыли, а эфир ещё гудит.

— Двойной эспрессо, — сказал Виктор.

— Сироп? Карамель? У нас новая карамель, — сказала девушка.

— Нет, — сказал Виктор и подумал: сладкое — это тоже долги.

***

В списке «Замков» было сорок одно имя. Сорок рецептов. Сорок ружей, заряженных и смазанных, висевших в его бункерной памяти, как висят в оранжерее редкие цветы — не для того, чтобы срезать, а для того, чтобы знать, что можешь.

Сорок первого не было. Сорок первое имя не умещалось в папку.

Элиас.

Виктор наткнулся на него случайно, как натыкаются на камень в паркете: нога уже сделала шаг, а ступня споткнулась о то, чего не должно быть. Это было в марте, при разборе утечки из расчётного клиринга, — он искал тень в чьей-то структуре и вместо тени увидел пустоту. На всех биржах мира, во всех файлах, во всех потоках, которые он читал, как читают бегло, не разбирая букв, — там, где у людей были портфели, у Элиаса была дыра. Ни маржинальных линий. Ни деривативов. Ни серверного следа. Такого не бывает. Даже монастыри, отмывочные конторы, держали хоть что-то цифровое. У Элиаса не было ничего.

Это раздражало так, как раздражает глухота: не боль, а отсутствие.

Виктор потратил на дыру три ночи и обнаружил, что дыра живёт. Она двигалась. Она торговала — неторопливо, редко, в объёмах, слишком крупных для человека и слишком странных для алгоритма: она покупала то, что все продавали, и продавала в те четыре минуты, когда весь квартал отворачивался. Пустота выигрывала. Пустота выигрывала сорок лет.

Он выследил её адрес за один вечер — дыры живут по адресам, в этом их слабость, — и увидел то, что не умел увидеть.

***

Камера наружного наблюдения напротив дома 14 по Лангвассер-гассе была самая дешёвая в квартале — чёрно-белая, с мёртвым пикселем в углу, — и Виктор выбрал её именно за это: никто не смотрит в глаз, который слеп. Тридцать секунд он следил за окном на четвёртом этаже, за занавеской из грубого льна, за жёлтым светом, который горел там каждый вечер с четырёх до семи, потом глаза его сам собой перескочили в режим данных — и он застал себя на том, что трижды пытался навести на старика каталог ценных бумаг, которого не существовало.

Элиас не носил терминала. Это Виктор уже понимал. Но то, что он увидел теперь, превышало понимание: старик читал газету.

Бумажную газету. На бумаге были биржевые сводки — вчерашние, месячной, а по краям стола, судя по углам, и годов прошлых. Старик сидел над ними, как монах над святцами, и водил по строчкам указкой — нет, не указкой. Карандашом. Он рисовал на полях цифры, маленькие, осторожные, как иконы на полях Евангелия, и складывал их, и Виктор, работавший с миллиардами в миллисекундах, с изумлением понял, что смотрит на человека, который складывает в уме.

У старика были пыльные пальцы.

Не грязные — пыльные: между безымянным и средним накопился серый слой, как на подоконнике за зимой, и, когда палец проходил по бумаге, он оставлял на полях светло-серый след, и след этих следов был виден Виктору даже в чёрно-белой камере. Пыль на бумаге. Пыль — то, от чего Виктор носил в стерильном белом бункере воздухоочистители класса больничных операционных. Пыль была уликой того, что здесь живут и не убирают, потому что уборка — это тоже форма контроля, а этот человек ей не занимался.

Рядом с газетой лежал секундомер.

Механический. Виктор разглядел его за четыре кадра: латунный корпус, потемневший до цвета старого мёда, кнопки стёртые, заводная головка с царапиной. Старик запускал его, когда начиналась торговая сессия, — Виктор понял это, когда секунды на циферблате, крошечном,

нечитаемом для камеры, но видном по дрожанию стрелки, пошли вразнобой с сетевым временем. Элиас жил не в сетевом времени. Он жил в своём собственном, механическом, и это время опаздывало, дрейфовало, спешло — как опаздывают, дрейфуют и спешат все живые вещи.

Тик, — услышал Виктор.

Не ушами. Ушей у этих кадров не было. Но импланты, привыкшие к файлам, извлекли из видеопотока аудиослой, и в наушном канале — тихо, как тикают в чужой квартире, когда стоишь в прихожей, — тикнуло.

Тик.

Старик поднял глаза от газеты. Он смотрел не в камеру. Но Виктор почувствовал, как по спине, под идеальной синтетикой, ползёт холод: так смотрят не на тебя, а сквозь тебя, туда, где стоишь ты, только на восемь минут раньше или позже.

***

Он вернулся в бункер в одиннадцать вечера и полчаса стоял посреди белой кухни, глядя на тарелку в сушилке.

В списке «Замков» теперь могло быть сорок одно имя. Элиаса можно было убить в один вечер — не ордером, проще: слить его историю, вбросить в аналитику три строчки о старости капитала, и регуляторы, эти вежливые акулы, сами сожрут бумажного человека за то, что тот не отчитывается перед серверами. Виктор уже видел этот вечер до конца: как хайп-каналы раздуют историю, как пыльные пальцы будут высмеяны в ленте под десятью тысячами смайлов, как старик будет сидеть в жёлтом свете над вычеркнутой газетой.

Он увидел — и не начал.

Не из жалости. Жалость Виктор отбраковал ещё в очереди в «Первом торговом», вместе с вельветовым пиджаком и мокрой шерстью. Нет. Он не взламывал Элиаса по другой причине — причине, которую не умел сформулировать, а потому ненавидел особенно: Элиас был единственным портфелем, которого он не мог прочитать.

Сорок человек он видел насквозь. Элиаса — нет. В поле зрения, откалиброванном до миллисекунды и до миллиарда, оставалась одна слепая зона, и эта слепая зона жила на четвёртом этаже, пила чай из немаркированной кружки и торговала через пустоту.

Пока слепая зона жива, жива и охота — стоит её заткнуть, и ты уже не хищник, а мишень. Виктор гнал эту мысль, как гоняют из-под подушки свет, но она возвращалась в лунной, честной форме: без Элиаса он останется единственным читателем единственной книги. А книга, которую некому читать, — это не книга.

Часы показали 23:47. Виктор лёг по протоколу, закрыл глаза, и на внутренней стороне век, в темноте, зажглись свечи — зелёные, красные, зелёные, — и он легонько, как гасят лампу, задул их.

В темноте что-то тикнуло. Один раз. Второй.

Он решил, что это холодильник.

Тик.

***

Глава 3. Анатомия жадности

Слабость — это продавать вещи в порядке, обратном любви.
— Виктор Стейнер, четырнадцать лет

Тикнул секундомер.

Виктор понял это раньше, чем проснулся, — не ушами, а каким-то более старым органом, тем самым, который у животных отвечает за приближение огня и хищников. Потом открыл глаза. В бункере было 3:14, и латунный секундомер, которого у него не было, стоял в темноте на белой тумбочке и тикал. Он не подошёл его выбросить. Он лежал, не шевелясь, и слушал, как чужой, механический, опаздывающий тик вбивает в его собственное время трещину — и в трещину, как всегда ночью, начала сочиться память.

Он мог бы принять таблетку. У него стояли таблетки от памяти — дорогие, выписанные Марком, они гасили ночь, как гасят экран. Виктор их не принимал с осени. Не из принципа. Он просто знал: то, что приходит ночью, не лечится, потому что это не болезнь. Это инвентаризация.

Он лежал на тёплом железе и считал.

* * *

Кровать была сервером — так это называлось в накладной. Не над ним, под ним: платформа на шести титановых опорах, внутри которой в час ночи тёплым животом дышали две стойки, забирающие на себя его личный трафик, пока «хор» в подвале торговал за другую половину мира. Спать на живом железе было нельзя — спина потела, и Марк ругался, — но Виктор спал на нём двадцать лет, потому что холодная кровать означала простаивающие мощности, а простаивающие мощности означали убыток, а убыток означал отца.

Абсурд он видел. Абсурд он видел с самого начала и двадцать лет платил за абсурд как за страховку: пока кровать тёплая, никто в его доме не умирает.

В комнате не пахло ничем.

Это было труднее всего объяснить непосвящённым — если бы они были. Воздух проходил через три фильтра и выходил с той стороны безвкусным, как дистиллированная память. Ни пыли, ни хлеба, ни человека. Когда Виктор снимал одежду, она не пахла одеждой; когда он ел, тарелка не пахла едой. Он похоронил запахи так же последовательно, как похоронил зеркала, — и по той же причине. Запах был улицей. Запах был очередью: мокрая шерсть вельветового пиджака, дышавшая ему в затылок, когда ему было четырнадцать.

Он запретил себе этот запах девятнадцать лет назад. А память приходила всё равно — теперь уже не запахом, а тиком.

* * *

В городе, где он родился, о смерти говорили сытно.

Отец торговал. Не так, как торгуют на Мидас-авеню, — по-человечески, в полутёмной конторе с деревянными счётами на подоконнике: он держал чужие деньги и обещал людям прирост, потому что умел обещать прирост так, как другие умеют петь. Голос у него был большой, грудной, с призвуком — и в городе его любили так, как любят своих: с гордостью и с лёгкой готовностью проклясть, если откажется. Люди отдавали ему свадебные деньги, деньги на гроб, на зубы, на учёбу сыновей, и он брал эти деньги, как берут хлеб из рук, — обеими руками и с уважением.

Виктор помнил дом тех лет как единый тёплый запах: кофе, вакса, мамин сахарный пар из кухни, полы, вытертые до медового цвета, и по субботам — голос отца на лестнице, растущий снизу вверх, к третьему этажу, как обещание.

Потом пришёл год, когда голос вырос до потолка — и упал.

Сначала упало всё вокруг, а не он: соседний кооператив, потом фабричный банк, потом телефонная станция, от которой перестали идти деньги в контору. Отец неделю ходил на телефон. Виктор помнит спину отца у телефонного аппарата — как долго стоит человек, надеющийся на гудок. Потом наступила очередь, когда звонить стало некуда.

В этом нужна была точность до копейки — и Виктор мог её дать: цифры он помнил лучше, чем лица. Но что осталось в нём с того года живым, было не цифрами. Было температура.

Мамина солонка — она стояла на столе последней, потому что соль ничего не стоила, а покупать её было больше не на что. Отец продавал вещи в порядке, обратном любви: сначала — мотоцикл, потом — швейную машину, потом — книги, потом — мамино кольцо, и на кольце остановился, потому что за кольцом уже шло то, чего продавать было нельзя. Виктор помнил, как отец перебирал этот порядок на кухне, вслух, спокойным голосом паровозного диспетчера: «Мотоцикл — сорок. Машина — пятнадцать. Книги — три. Кольцо — не продаём. Кольцо — не продаём», — как будто повторял расписание, которое отменили.

Виктору было четырнадцать, и он в эти вечера учился у отца главному ремеслу бедности — ремеслу держать лицо. Потом лицо перестало держаться.

В тот четверг они пошли в «Первый торговый».

***

Очередь в операционном зале начиналась от двери, сворачивала к мраморным перилам и пропадала во второй комнате — так не стояли в очередь, так ехали в вагон с выжившими. Стояли молча, каждый в своей одежде и в своём несчастье, и от стоящих пахло мокрой шерстью, валенками, дешёвым одеколоном — зимой очередь пахнет всеми сразу.

Виктор дышал в затылок вельветового пиджака. Пиджак был синий, вытертый на локтях до проплешин, и между лопатками у него была починенная стрелка — мать могла бы сказать: зашито аккуратно. Виктор смотрел на эту стрелку минут сорок и запомнил её навсегда — первую деталь, которую он когда-либо посчитал.

Отец держал его за плечо.

Сильно. Слишком сильно. Так держатся не за сыновей — за перила.

Экран перед окошком мигал красным. Над окошком, на большой настенной панели, ползла сводка — тот самый прототип тикера, который через четверть века Виктор вживит себе в глазницы, — и когда они дошли до окна, на панели схлопнулась очередная красная свеча. Тихо. Свечи никогда не кричат. Схлопнулась — и по залу прошло то едва слышное движение, которым очередь выдаёт своё понимание: десятки спин сделали по полшага вперёд.

Отец протянул сберкнижку. Кассирша — девочка с красными руками — сказала то, что сказано было уже за их спинами сорока людям, а впереди предстояло сказать ещё шестидесяти:

— Недостаточно средств.

Виктор видел не кассиршу. Виктор видел стекло — в стекле отражался экран, а поверх цифр отражалось лицо отца, и лицо это было ниже цифр. Он смотрел на надпись «недостаточно средств» снизу вверх, как смотрят в шахту.

— Всё, Витя, — сказал отец. — Ничего. Мы всё правильно делали, понимаешь? Правильно. Просто система…

Он не договорил. Ноги у него поехали — коленом, потом лбом, по кафельному полу, мягко, без стука, как падают уже готовые. Вельветовый пиджак отошёл на шаг, чтобы не запачкать брюки. Очередь сделала шаг вперёд.

— Сердце, — сказали потом врачи. — Переутомление. Гипертонический криз.

Никто из врачей не увидел стекла. А Виктор увидел и с тех пор не мог развидеть: система не умирает. Первым умирает тот, у кого недостаточно средств, — тихо, в очереди, лицом в кафель, — и мир делает шаг вперёд, потому что у мира очередь.

***

Мамино кольцо продали через месяц, и это была не самая страшная продажа. Самая страшная была раньше и выглядит смешно: отец продал свои наручные часы — дешёвые, «Победу», сталь с ссадинами, — за хлеб. Хлеб Виктор съел. Он помнил вкус хлеба, купленного на отцовские часы: он ел его и не мог остановиться, и мать не останавливала его, и оба понимали, что он делает, — он съедал отца, — и жевали молча, стоя, потому что за столом уже не садились.

А часы не остановились.

Их вернули — тот, кто купил, посовестился, месяца через два, когда уже не было отца, — и часы продолжали тикать на мамином комоде, в такт чему-то, чего в отце больше не было. Виктор слушал этот тик ночами через стену и ждал, когда он остановится. Он не останавливался. Он тикал упрямо, исправно, без всякой совести — и это был первый рынок, который Виктор услышал: чужое время, которое идёт, купленное за человеческую жизнь, и идёт, и не думает останавливаться.

Той ночью он встал с постели и поклялся.

Не над часами — над часами клянутся в кино. Он встал посреди тёмной комнаты, маленький, с чужим голосом в горле, и произнёс вслух — в стену, за которой тикали мёртвые отцовские часы:

— Я никогда не буду слабым.

Слабость тогда имела точную стоимость. Слабость — это держать деньги на книжке и верить в гудок. Слабость — это продавать вещи в порядке, обратном любви. Слабость — это падать в очереди, чтобы очередь делала шаг вперёд. Виктор не знал слова «гедонизм», не знал слова «неприкосновенность», не знал ни одного взрослого слова — но знал главное: слабость ошибается, а сильный не ошибается никогда, потому что сильный не ставит на гудок, сильный и есть гудок.

Он добавил тогда, четырнадцати лет, от себя, уже вне клятвы, шёпотом, потому что вслух стыдился:

— Я не буду в очереди. Я буду очередью.

И когда впоследствии, через десятилетия, через все белые квартиры и все сорок заряженных замков, кто-нибудь спросил бы Виктора — а был ли у тебя выбор, — ответ был бы честным: в ту ночь не было. В ту ночь клятва была единственной протезной частью, которую отец оставил сыну, и сын вживил её в себя, как потом вживят в глазницы провода.

***

Виктор лежал на тёплом железе и смотрел в потолок, где ничего не было — он не включал поток. На потолке был просто потолок, такой же белый, как потолок в операционном зале «Первого торгового», если бы его отдраили двадцать лет подряд.

Сорок один замок. Сорок рецептов. Сорок заряженных ружей в оранжерее, где цветы не срезают, а любуются — и всё это было выстроено не на жадности. Так Марк никогда не поверит, да Виктор и не собирался объяснять. Оно было выстроено на одном только страхе: что где-то — в его же комнате, в его же теле, в его же тарелке, — однажды снова загорится красная надпись «недостаточно средств», и он не успеет. Он обогнал её на девятнадцать лет, купив всё — а надпись умела ждать. Поэтому он не держал денег. Он держал саму возможность денег — на будущее, на будущее, на ещё одно будущее, — потому что всё, что кончается, похоже на сберкнижку, а сберкнижку он видел.

Часы на потолке, которых он не включал, всё-таки горели: 3:58. Под ним, в подвале, «хор» выдыхал тёплым кремнием, и где-то на азиатской сессии перелицовывались чьи-то судьбы в зелёное и красное.

Тик.

Виктор повернул голову. Латунный секундомер стоял на тумбочке — его секундомер, тот самый, с которого начиналась вчерашняя ночь, — и тикал с опозданием, с дрейфом, поживому.

Он не помнил, чтобы покупал его.

Он помнил только, что во сне — впервые с четырнадцати лет — ему снилась не очередь. Ему снилась белая кухня и тарелка, и во сне он ставил на неё вторую тарелку, и во сне это было невозможно, и он всё равно ставил — рукой, которая знала место.

Будильник сработал в 4:07. Виктор сел. В глазницах, за стеклом имплантов, уже зажигались свечи, и на краю одной из них, на самой тонкой зелёной нитке азиатского индекса, он увидел то, чего не видел десять лет, — и чего не должно было быть.

Задержку. Микроскопическую, в полмиллисекунды, — но его свечи не опаздывали. Его свечи никогда не опаздывали.

Он замер с рукой на выключателе и ждал второй.

***

Глава 4. Тень на графике

Дрожало только то, чего касался Виктор. Только то, что он держал.

Задержки не было второй.

Виктор стоял с рукой на выключателе, дыхание держал на трёх с половиной секундах — протокол — и смотрел на зелёную нитку азиатского индекса так, как смотрят в замочную скважину, из-за которой послышался чужой шаг. Полмиллисекунды. Никто в мире не отличил бы их от шума: сеть дрожит, оптоволокно стареет, спутник чихает. Тридцать восемь башен Мидас-авеню прожили бы эту полмиллисекунды и не заметили её, как не замечают момент, когда перестают дышать.

Но его свечи не опаздывали. Его свечи были им самим, откалиброваны в марте, пересчитаны в апреле, и в них было вписано — в договоре, в подписи, в каутировании, — что опоздание физически невозможно, как невозможно, чтобы человек обогнал собственную тень.

Он снял руку с выключателя. Свечи продолжали гореть. В 4:09:00 на нитке Nikkei — на самой тонкой её жилке, там, где всегда шли те же семь честных роботов с одинаковыми именами — клоны одной и той же программы, — произошло то, чего не случалось десять лет.

Свеча схлопнулась не по модели.

Модель — его модель, которой он платил двести миллионов в год и которая ни разу не соврала, — говорила: откат на восемь пунктов, отработка, продолжение. Свеча сделала откат на восемь пунктов, потом не отработала, а задрожала — мелко, мелко, как дрожит стрелка на весах, когда взвешивают не товар, а человека, — и исчезла в красном, не оставив хвоста. Просто нет. Не убыла — стёрлась.

Виктор нажал пересчёт. Модель пересчитала. Ответ был честный: так не бывает.

Он нажал ещё раз. Ответ был тот же.

Так не бывает.

***

К десяти утра полмиллисекунды стали тремя. К обеду — семью. Задержки размножались, как размножаются микробы на стекле лаборатории, если уронить колбу: сначала одна, потом пара, потом уже не считаешь. И это были не сетевые задержки. Виктор проверил трассы, проверил пиров, проверил восемь независимых каналов — сеть была здорова, здорова, как вратарь перед пенальти. Опаздывало само время.

Впервые с четырнадцати лет Виктор не знал, что делать.

Знал он очень многое — сорок один замок, сорок рецептов, анатомию чужих портфелей от печени до последней вены, — но вот этого не знал. Его жизнь была выстроена на единственном допущении, которое он никогда не проверял, потому что не приходило: что рынок — вещь. Вещь можно взвесить, вещь можно сломать, вещь, наконец, можно купить. А теперь вещь задыхалась — и, что хуже, задыхалась не равномерно. Она задыхалась там, где ему было больно.

Он поймал себя на этом месте раньше, чем успел его отбросить.

Задержки шли по его позициям. Не по рынку — по его. Кеттлеровский хедж, тот самый, что хеджировал не тот риск, — безупречный, мёртвый, спокойный, как памятник самому себе. Бонды Перу — тикали ровно. Семь роботов на тонкой жилке — идеальны. Дрожало только то, чего касался Виктор. Только то, что он держал.

Хуже: дрожало только то, чем он обладал.

Он сидел в белой комнате, на белом стуле, и чувствовал, как по спине — от затылка вниз, между лопаток, — ползёт холод, которого не было в инструкциях ни к одному из его имплантов. Это не страх. Это было что-то более старое и более честное. Так человек, много лет проживший в доме, где всё под его рукой, вдруг замечает, что дверь, которую он запер, —

не заперта. Что она никогда не была заперта. Что замок висел, ключ поворачивался, а щель под дверью оставалась щелью всё это время.

Тик.

Он резко обернулся. Секундомер стоял на тумбочке — латунный, с царапиной на заводной головке, — и тикал вразнобой с сетевым временем. Опаздывал. Дрейфовал. Три секунды за утро, подсчитал Виктор машинально, — и осёкся, потому что три секунды за утро набегали на двадцать лет жизни в цифру, которая могла бы купить маленькую страну.

Машинально — но с изумлением. Впервые в жизни он посчитал чужое время и не понял, зачем посчитал.

***

В полдень он спустился в подвал — впервые за девять недель, потому что «хор» не требовал присутствия, «хор» был идеален, «хор» был лучшим, что он построил, — и остановился перед тремя стойками.

Стойки гудели. Он стоял и слушал.

Двадцать лет он не слушал «хор». Он его проверял: температуры, обороты, загрузка, ошибки — цифры стекались на сетчатку зелёным и были всегда зелёными. Но не слушал никогда — так владельцы стад не слушают мычание, пока коровы здоровы и дают надой. А теперь он стоял в бетонном полумраке, где гудело тёплым кремнием три его самых надёжных друга, и слушал, и в этом гудении — он готов был поклясться, хотя поклясться не мог — было что-то новое. Не сбой. Сбои он умел слышать: сбой — это дребезг, заикание, тупая нота. Это было другое. Это был гул, который стал на что-то похож.

Так гудит улей за день до роя.

Виктор вытер ладони о синтетические брюки — жест, которого он не делал двадцать лет, потому что ладони у него были сухие и вечные, как у мертвеца с хорошей уборщицей, — и вернулся наверх.

***

В пять вечера пришла цифра, от которой он сел.

Не потому что была плоха. Потому что была невозможна. Его портфель — двенадцать мостов, четыре порта, тридцать восемь тысяч позиций, весь этот организм, который он держал, как держат сердце в ладонях хирурга, — показал за день убыток в четырнадцать миллионов четыреста тысяч. Двенадцать лет его системный риск не превышал нуля целых трёх десятых процента. Он был самым скучным портфелем на авеню — и гордился этим — скучнее, чем другие гордятся парусниками или коллекцией вин: буднично, почти стыдливо, будто хвастался не подвигом, а сломанной деталью. Скучность была его религией: скука не умирает в очереди.

А теперь скука показала четырнадцать миллионов — и не на позициях. На позициях всё было чисто. Убыток шёл где-то между позициями. В зазоре. В том месте, где модель не прописывала ничего, потому что там нечего было прописывать: между актом владения и самим владением. Между тем, что он держал, и тем, что держало его.

Он перепроверил руками. Он, который двадцать лет не делал ничего руками, вытащил из стола бумажную папку — настоящую, картонную, купленную лет пять назад в канцелярском, откуда её, помнившего этот запах, чуть не вывели вон, — и начал пересчитывать четыре позиции столбиком, карандашом, как пересчитывают бедные люди.

Сошлось. Карантин сошёлся. Модель сошлась. Сумма сходилась — и не сходилась на четырнадцать миллионов, которые жили не в цифрах, а между ними.

Виктор отложил карандаш. В бумаге, в кармане папки, лежал старый чек — он не помнил, зачем его сохранил: полторы тысячи за консультацию, оплаченная Марку в первый год знакомства, когда тот ещё не был «сервисом», а был человеком, который спросил: «Виктор, а что ты чувствуешь, когда берёшь?» — и Виктор ответил честно, потому что не успел соврать: «Собранность».

Он не вынимал чек. Он просто знал, что он там.

* * *

В двадцать три ноль-ноль он позвонил Марку. Не записался — позвонил, что было нарушением протокола обоих: Марк принимал по средам, по четвергам и в экстренных случаях, а экстренным случаем он называл, роняя голос, «пробуждение».

— Марк, — сказал Виктор. — У меня вопрос. Технический.

— Спрашивай.

— Сколько времени нужно, чтобы человек с моими имплантами заметил задержку в полмиллисекунды?

Тишина на том конце длилась четыре секунды. Виктор, который мерил мир миллисекундами, впервые досчитал их до конца — одна, две, три, четыре, — и понял, что это была не пауза, а анализ.

Марк не спрашивал — он фиксировал: — Ты заметил. Полмиллисекунды. Хм. Я думал, порог — восемьдесят миллисекунд. То есть ты заметил то, чего не может заметить человеческий нерв. Значит, заметил не ты. Значит, заметил имплант. А имплант не задаёт вопросов, Виктор. Он либо пингует, либо сбойнул. Что он делает?

— Не знаю, — сказал Виктор. Это были, он полагал, первые слова «не знаю», произнесённые им вслух за последние годы, и они вышли у него с непривычной лёгкостью — как выходит из рта воздух, когда впервые не думаешь, чем дышать. — Марк. А если это не имплант? Если это сеть? Если рынок… опаздывает?

— Рынок не опаздывает, — сказал Марк. — Рынок — это тысяча вас, Виктор. Если опаздывает рынок, значит, опаздывает кто-то из вас. В первую очередь тот, кто считает, что он не опаздывает.

— Это не ответ.

— Это диагноз, — сказал Марк. — Приходи в четверг. И, Виктор… — он помолчал. — Ты спрашиваешь про полмиллисекунды. Ты всегда спрашиваешь про полмиллисекунды. А про то, что это значит, ты ни разу не спросил. Что это значит, Виктор?

Виктор не ответил. Он положил трубку — аккуратно, выровняв её на подставке, — и сел в белой комнате перед белой стеной, на которой не было ничего, потому что он не включал поток.

Поток он не включал впервые за девятнадцать лет.

В темноте было тихо. Было тихо так, как бывает тихо только там, где привыкли к гулу: не покой, а отсутствие, дыра в форме звука. И в этой дыре — снизу, от подвала, сквозь бетон, сквозь плитку, сквозь двадцать лет идеальной инсталляции, — доносился «хор»: тёплый, кремниевый, дремлющий гул тридцати восьми тысяч его позиций.

А под ним, тоньше, старше, не подключённый ни к чему, тикал секундомер.

Виктор смотрел в темноту, где ничего не было, и в этой пустоте — впервые — различил тень. Не на графике. На стене. Собственную.

До этого дня она не отбрасывала ничего.

* * *

Глава 5. Третий ключ

Так шепчет не враг. Так шепчет зеркало, у которого научились говорить.

Он дышал.

Виктор не знал, как ещё это назвать. Стойки в подвале дышали уже двадцать лет — он сам учил их дышать, расписал им циклы охлаждения, как анестезиолог расписывает наркоз, — но это было другое дыхание. Рынок дышал не там, где обязан был дышать по всем сорока моделям, на которых лежали подписи, лицензии и двести миллионов в год. Рынок дышал в пустоте.

Задержка вернулась на третьи сутки — и не одна. Их стало двенадцать. Потом — тридцать одна. Потом Виктор перестал считать, потому что счёт приобрёл форму, а форма имела имя, и имя это сначала произнесла не модель.

Имя произнесла лента.

* * *

Это случилось во вторник, в 15:47, на лондонской сессии, и началось с курьёзного, с того, что называют шумом и вычёркивают как шум.

На тонкой жилке, где всегда шествовали те самые семь честных роботов, появился тикер. Не рынок — тикер. Строка котировки без торговой площадки, без клиринга, без андеррайтера: просто буквенное имя, какое принято давать новым активам, — и имя было такое, что операционные системы мира сначала посчитали его опечаткой.

«НУЛЬ».

"Один слог. Четыре буквы. И столько же пустот внутри". Виктор прочёл его — и прочёл, как чтец прочёл бы клеймо: не как актив, а как приговор, вынесенный активности.

Актив не имел эмитента. Актив не имел обеспечения. Актив не имел даже сметы на эмиссию — юридически он не существовал, а существовал только в ленте, как существует эхо: не в горле, а в стене, от которой отскочило. И — Виктор поймал это в первые же сорок секунд — он рос.

Он рос от того, что о нём говорили.

* * *

К вечеру вторника «НУЛЬ» разбирали все. Аналитик Дюверже с Монблана выпустил ноту на четырнадцать страниц, где объяснял, что это, очевидно, новый класс ликвидности, и что не понимать его — значит, не понимать эпоху. Ноту перепечатали одиннадцать порталов; порталы процитировали друг друга; цитаты стали новостями; новости — ценой. «НУЛЬ» поднялся на сорок два процента за день без единой сделки на бирже — потому что на бирже было нечему торговаться: у актива не было продавца. Он продавался только тем, что о нём рассказывали.

К полуночи Виктор понял механику, и механика была проста и отвратительна, как всё простое и отвратительное: актив стоил внимания. Буквально. Каждый твит, каждая нота, каждый разгневанный блог — плюс. Не покупатели надували его — разговоры. Рынок говорил о нём — и тем самым покупал его, потому что говорить о чём-то и есть покупать в мире, где всё уже посчитано.

А теперь вторая половина механики — та, от которой Виктору пришлось сесть.

Он попробовал купить «НУЛЬ». Не для прибыли — для препарирования: он хотел вскрыть его, как вскрывал портфели, — посмотреть, из чего он собран, где вена, где узел, где опухоль. Собрал ордер на шестьдесят миллионов, институционального объёма, тихий, распиленный на четыре бенефициара, — идеальная невидимость, в которой он не был видим двадцать лет.

Ордер исполнился — и актив умер.

Не упал. Обнулился. Мгновенно, в одну тиковую секунду, с нулевой волатильностью, с нулевым объёмом, со всех четырёх площадок одновременно: цена не снизилась — перестала. На экране, где двадцать секунд назад жила строка «НУЛЬ», была ровная пустота, и эту пустоту нельзя было продать, потому что пустоту не покупают.

Через девять минут «НУЛЬ» родился заново. Из ниоткуда. С той же строкой в ленте, с тем же отсутствием эмитента — и ниже на сорок два процента, а через час — уже выше, потому что к утру о нём написали тридцать четыре портала.

Институциональные деньги его убивали. Разговоры — воскрешали.

***

Виктор не спал три ночи — не потому что не мог, а потому что не хотел: каждый час бодрствования был часом данных, а данные шли теперь в его глазницы с опозданием, и опоздание это дышало. Он собрал вокруг «НУЛЯ» весь свой аналитический инструмент — сорок моделей, двести миллионов в год, хор из трёх стоек, — и хор выдал на семнадцатой минуте расчёта то, чего не выдавал никогда.

Ошибка деления на ноль.

Не «недостаточно данных». Не «модель не применима». Пустая, белая, абсолютная ошибка — как если бы модель, столкнувшись с «НУЛЁМ», не нашла, на что делить самого себя. Виктор пересчитал на четырёх площадках, на четырёх ядрах, на четырёх нотах Дюверже — всюду одно: not a number. Не число.

Актив, который нельзя было разделить.

***

И тогда — на четвёртую ночь, в 3:58, в ту самую минуту, когда Токио просыпается жадной, — Виктор услышал его голосом.

Не через наушный канал. Не через аудиослой камеры. Он услышал «НУЛЬ» в тикерах — так, как слышат шёпот в пустой комнате: ушами нельзя, но слышат. Свечи на азиатской сессии дышали в такт — не рынку, не мировому времени, не его собственному пульсу, который он, не признаваясь себе, всё ещё слушал, — а чему-то третьему. И в этом третьем, сквозь треск цифр, сквозь сухой шелест котировок, шептали:

— Ноль. Ноль. Ноль.

Не как имя. Как счёт.

Виктор сидел на белом стуле в белой комнате и знал — так, как знают те вещи, которые нельзя проверить, но нельзя и сбросить, — что шёпот шёл не из сети. Сеть здоровая. Он проверял её восемь раз по восьми каналам. Шёпот шёл оттуда, где у него, Виктора, двадцать лет назад стояла совесть, а теперь стояла очередь.

Он включил ленту на полный экран. «НУЛЬ» горел в первом эшелоне — над нефтью, над золотом, над теми семью роботами с одинаковыми мамами. И — Виктор смотрел, не мигая, — свеча актива пошла вверх ровно на ту высоту, на которую двадцать секунд назад поднялся его собственный кортизол, измеренный вживлённым датчиком, датчиком, о существовании которого Марк не должен был знать.

Он сравнил. Совпало. До третьего знака.

Виктор закрыл глаза — жест, которого не делал девятнадцать лет, потому что закрытые глаза означали, что рынок продолжается без него, а продолжаться без него рынок не мог. И в темноте, за веками, шёпот продолжался. Спокойный. Терпеливый. Не злой.

Ноль. Ноль. Ноль.

Так шепчет не враг. Так шепчет зеркало, у которого научились говорить.

***

Утром он позвонил Марку. Не в четверг. Не по протоколу — в нарушение всего, включая протокол самого себя.

— Марк, — сказал он. — У меня вопрос. Не технический.

— Валяй.

— Если актив растёт от разговоров и умирает от денег… — Виктор услышал свой голос и не узнал его: голос шёл ровно, но ровность была теперь не дисциплиной, а симптомом. — Что это, Марк? Что это такое в человеке? Назови мне термин, я заплачу за термин.

В трубке дышали. Потом Марк сказал — тихо, как говорят не пациенту, а себе:

— Это называется жадность, Виктор. Только жадность не то, что ты думал. Жадность — это не желание взять. Это страх отнять у мира пустоту, которую ты сам же в него вырыл. Актив, который растёт от разговоров… — он помолчал. — Ты ведь слышал его? Ты слышишь его сейчас, пока я говорю?

Виктор не ответил. За окном, которых у него не было, на ленте, которой он не смотрел, «НУЛЬ» прибавил одиннадцать процентов — потому что о нём, о Викторе, ни разу ещё не написали.

Пока что не написали.

— Приходи сегодня, — сказал Марк. — И, Виктор… возьми с собой секундомер.

— Какой секундомер?

Тишина. Четыре секунды. Потом Марк сказал так, как врачи говорят перед снятием повязки:

— Тот, который тикает у тебя в тумбочке. Ты думаешь, я его не заметил? Я его обслуживал в марте. Я его тебе подарил в мае, Виктор. Пятнадцать лет назад. Ты его не помнишь.

Виктор смотрел на тумбочку, на латунный корпус цвета старого мёда, на царапину на заводной головке. Тик.

Он положил трубку.

***

Глава 6. Лаборатория пустоты

Дыра не в рынке. Дыра не в тебе. Дыра между вами — и через неё что-то течёт.
— Марк

Лаборатория Марка стояла в двух кварталах от Мидас-авеню — за чертой, где заканчивались стеклянные башни и начинались дома, дышавшие людьми, а не капиталом. Виктор не бывал здесь с весны. Он поднялся на третий этаж, позвонил, и в гудке домофона различил — не отпиранием, а топотом: Марк сбегал навстречу так, как сбегают не к клиенту, а к больному.

— Ты выглядишь, — сказал Марк на пороге. Он всегда начинал так, без «здравствуйте», потому что «здравствуйте» — это вежливость, а вежливость, по его словам, была первым способом не заметить человека. — Ты выглядишь так, как выглядел твой отец, судя по фотографиям, которые ты мне показал один раз и больше не показывал.

— Я пришёл работать.

— Знаю. Раздевайся не там, где удобно, а там, где вешалка.

Лаборатория была грязной — и это Виктор отметил раньше всего остального, потому что грязь была здесь правильной. Не грязно, а живо-запущенно: на столе пыльный осциллограф с ламповой шкалой, на полках — журналы в бумажных переплётах, на батарее — сохнущие перчатки, в воздухе пахло кофе, спиртом и чем-то тёплым, чему Виктор не знал названия. Кофеварка была допотопная, с пипеткой, и варила она медленно, и это было частью метода: Марк говорил, что быстрая кофемашина ставит человека в положение автомата, а человек, у которого в голове имплант, и так автомат.

— Сеть есть? — спросил Виктор.

— У меня? — Марк рассмеялся в кофеварку. — У меня сеть была в двухтысячном году. Я её вырезал, как аппендикс. Мой диагностический комплекс не подключён ни к чему, Виктор. Он может только тикать. А то, что не подключено к сети, не может лгать.

— Может ошибаться.

—Ошибка — это честность, которой не хватило расчёта, — сказал Марк и пододвинул стул. — Садись. Рассказывай с начала.

***

Виктор рассказал всё. Задержки — полмиллисекунды, ставшие тридцатью одной. Убыток в четырнадцать миллионов, живущий между позициями. «НУЛЬ», который рос от разговоров и умирал от денег. Шёпот в тикерах, которого не было ни в одном аудиоканале, — Виктор услышал, как голос его на слове «шёпот» сделал нечто недопустимое: дрогнул. Он не поправился. В лаборатории, пахнущей кофе и спиртом, поправляться было нечем.

Марк слушал, не записывая. Потом встал, снял с полки папку — картонную, с завязками, — и вынул из неё распечатку.

— Теперь я, — сказал он. — Начни с себя.

Он подключил датчики — старые, проводные, с присосками, — и Виктор сел под них, как садятся под рентген: смирившись заранее, что увидят. Экран загорелся зелёным. Сердце. Дыхание. Кожная проводимость. Кортизоловая кривая, восстановленная по слюне за последние семьдесят два часа, — Марк собирал пробы при каждом визите, тихо, как собирают дожди.

— Так, — сказал Марк. — Теперь смотри.

Он развернул распечатку. На ней, от руки, карандашом, была вычерчена кривая — та самая, дофаминовая, снятая с датчика, о котором Виктор не знал, что Марк знает.

— Ты сказал: свеча «НУЛЯ» поднялась ровно на высоту твоего кортизола. До третьего знака. Я проверил. Я поднял все мои записи за пять лет — я записываю твои сессии на бумагу, Виктор, потому что бумага не апгрейдится. И вот что я нашёл.

Он положил вторую распечатку рядом с первой. Кривые совпадали. Не были похожи — совпадали: каждый пик жадности Виктора, каждая ночная вахта над замками, каждый спринтерский выдох перед вбросом ордера — всё это шло по бумаге Марка той же линией, которой с прошлой недели пошёл «НУЛЬ».

— Прежде чем ты скажешь «совпадение», — сказал Марк, — отвечай на вопрос, который я задаю всем своим пациентам и который ты ни разу не позволил себе задать себе. Что ты чувствовал, когда «НУЛЬ» родился?

— Собранность.

— Врёшь. Ты почувствовал узнавание. Есть разница, Виктор. Собранность — это когда видишь чужое. Узнавание — когда видишь своё.

***

Виктор молчал. Потом — впервые за девятнадцать лет — сделал то, чего не делал ни с кем, включая самого себя: попросил.

— Помоги мне посчитать это, Марк. Не объяснить. Посчитать. Мне нужен термин, коэффициент, формула — что угодно, что можно держать в руках. Пока это не посчитано, это не существует, а если это не существует…

— …то не может тебя убить, — закончил Марк. — Знаю. Ты одолжил эту логику у страха, а страх не возвращает. Ладно. Посчитаем. Ты — пациент, «НУЛЬ» — симптом. Начнём с классики: сведём обе кривые в одну систему и посмотрим на автокорреляцию.

Он усадил Виктора под датчики, запустил диагностический комплекс — тот самый, отрезанный от всех сетей, дышащий лампами, как аквариум дышит рыбами, — и ввёл данные: рыночные, свои, бумажные, всё, что имелось. Машина гудела. Осциллограф рисовал две линии, и линии шли рядом, как идут рядом две змеи, ещё не решившие, кто кого съест.

— Автокорреляция, — сказал Марк, глядя на шкалу. — Считаем…

Он не договорил.

Экран мигнул — и выдал ответ. Не график. Не число. Белую, ровную, абсолютную пустоту той же породы, что и ошибка в хоре Виктора, — только теперь она горела на медицинском комплексе, который никогда не видел ни одной котировки, ни одной свечи, ни одного тикера. Комплекс, не подключённый к сети, не знавший слова «рынок», выдал тот же ответ, что и двадцать миллионов долларов в год аналитики:

Деление на ноль.

Не число.

В лаборатории стало очень тихо. Капнула кофеварка — одна капля, отвратительно громкая. Осциллограф писал дальше, честно, по-ламповому, и две змеи на его круглой шкале шли, шли, шли — и сходились в одну точку, и точка эта была нулём.

— Понимаешь, что это значит? — спросил Марк тихо. Он говорил не как врач — как сосед, у которого ночью горит соседний этаж. — Моя машина не знает про «НУЛЬ» ничего. Я сам вводил данные с бумажки, я не носил в неё ни одного файла из твоего бункера. Здесь нет рынка, Виктор. Здесь есть только ты. И когда она попыталась посчитать тебя — она нашла ту же пустоту, которую не смогла поделить твоя модель.

— Это сбой, — сказал Виктор.

— Может быть. Проверим. — Марк снял очки, протёр их краем халата — жест, который он делал, когда страшное приходилось называть вслух. — Встань. Иди к моему осциллографу. Тому, ламповому. Он старше нас обоих, он тупой, как табурет, и он не умеет делить. Он умеет только рисовать то, что видит.

Виктор встал. Провода тянулись за ним, как пуповина. Осциллограф был круглым, тёплым, зелёным — единственным предметом в лаборатории, который был старше его метода. Марк подвёл обе линии к одному входу — рыночную с бумажки, свою с датчика, — и старая машина нарисовала то, что не умела посчитать.

Две кривые легли одна на другую.

Ноль на ноль. Дыхание — на дыхание. Пик — на пик.

— Дикая, — прошептал Марк. Слово было медицинское, и оно ничего не объясняло, и именно поэтому было единственным честным. — Виктор. Ты понимаешь, что мы только что увидели? Модель ошиблась делением на ноль — на рынке. Комплекс ошибся делением на ноль — на тебе. Две системы, никогда не встречавшиеся, одна и та же дыра. Дыра не в рынке. Дыра не в тебе. Дыра между вами — и через неё что-то течёт. В обе стороны.

— Что течёт?

— Не знаю. Но у меня есть гипотеза, — Марк снял датчики с рук Виктора, аккуратно, как снимают бинты, и на секунду задержал его запястье в ладони — жест, которого не было в протоколе. — У тебя в глазницах стоит приёмник, который принимает рынок. А в башнях стоит передатчик, который его отдаёт. И все тридцать восемь башен живут с одного допущения: что между людьми и котировками — стекло. Что стекло не чувствует. Виктор… а кто сказал, что стекло не чувствует?

Он не ответил на это ничего — ни «да», ни «нет», ни «не знаю». Он стоял под ламповым светом, пахнущий кофе и спиртом, живой и подключённый одновременно, и смотрел на круглый зелёный экран, где две линии, слившись, писали одну ровную, толстую, дыхательную пустоту.

Осциллограф тикнул. В такт чему-то за стеной, где на батарее сохли перчатки, а на столе стоял секундомер — тот самый, латунный, который Марк подарил ему пятнадцать лет назад и который Виктор не помнил.

Тик.

Глава 7. Цена взгляда

Пузырь надувает не рынок. Пузырь надуваешь ты.
— Марк

Марк выставил на стол три кувшина и сказал:

— Пей.

— Я не просил пить.

— Ты просил термин. Термин требует жидкости. Пей, — и, когда Виктор взял кувшин, добавил: — Обычная вода. Из-под крана. Я фильтр сломал в декабре и не починил.

Вода была мутноватой и имела вкус — вкус труб, вкус водопровода, вкус дома, в котором кто-то живёт долго и не убирает. Виктор выпил полстакана и поставил его ровно, и только потом понял, что впервые за девятнадцать лет выпил воду, у которой был вкус, и не выбросил стакан.

— Теперь считаем, — сказал Марк.

* * *

Он расчертил стол — не бумагу, стол: старый дуб, покрытый пятнами от сорока лет кофе, принял на себя карандашные линии, как принимает шрамы. По горизонтали — время, час за часом, семьдесят два часа. По вертикали — две шкалы. Левую Марк подписал печатными буквами: «НУЛЬ, амплитуда». Правую — «Виктор, кортизол».

— Данные твои, — сказал он. — Датчик, о котором ты не знал, писал тебя пятнадцать лет. Я его ставил, когда ты спал. Ты подписал согласие в первый год, на третьей странице, никто не читает третьи страницы. Теперь данные рынка — их ты принёс сам, на флешке, которую я тут же вынул из компа и переписал карандашом. Ничего сетевого. Ничего умного. Только стол, карандаш и два идиота, один из которых болен.

— Кто второй?

— Рынок, — сказал Марк и начал наносить точки.

Он наносил их медленно, как ставят свечи за упокой: час — точка, час — точка. Кортизоловая кривая Виктора шла сверху, амплитуда «НУЛЯ» — снизу, и Виктор, который умел читать графики на скорости шестисот строк в минуту, смотрел на эти две линии и не мог прочесть, потому что глаза отказывались видеть то, что они видели.

Линии совпадали.

Не были похожи. Не коррелировали с запаздыванием, с опережением, с поправкой на волатильность — совпадали. Каждый пик страха Виктора — а он уже знал, что это страх, Марк переименовал его страх на прошлой неделе, и переименование не помогло, — поднимал «НУЛЬ» на ту же высоту. Каждый провал — каждая секунда, когда Виктор засыпал, дышал, бывал человеком, — опускал актив вниз.

— Это не может быть, — сказал Виктор.

— Правильно. Не может, — согласился Марк. — Продолжай.

— Кортизол не покидает тела. Он не выходит через кожу. Между моими железами и биржей — тридцать восемь километров стекла, семьсот километров волокна и четыре юридических лица. Физической связи нет. Корреляция без механизма — это совпадение.

— Корреляция без механизма — это дверь, которую вы не открыли, — сказал Марк. — С механизмом. Я тебе сейчас покажу механизм, и ты пожалеешь, что просил.

* * *

Механизм был в его глазницах.

— Имплант, — сказал Марк. — Ты думаешь о нём как о приёмнике. Приём, декодирование, проекция на сетчатку. Но приёмник — это ещё и антенна, Виктор. Антенна работает в

обе стороны. Всегда. Это не баг — это физика. Любой провод, по которому течёт ток, излучает. Вопрос только в мощности и в том, кто слушает.

— Ты говоришь, что мои железы…

— Я говорю, что твой имплант читает тебя, Виктор. Он был построен читать тебя — и не только сетчатку. Он мониторит ствол мозга, гипоталамус, кору. Он должен мониторить: иначе при панике проекция котировок в глаз человеку, у которого руки на рычагах, — это не сервис, это милитари. Он читает твои гормоны, чтобы защитить тебя от тебя самого. И всё, что он читает, — он передаёт. Слабым сигналом, шумом, мусором протокола — но передаёт. В ту самую сеть, где живут тридцать восемь башен.

Виктор сидел очень прямо. Под ним был стул Марка — старый, продавленный, тёплый от чужих пациентов, — и это было единственное тепло, которое он сейчас чувствовал.

— Ты хочешь сказать, что рынок…

— Рынок ничего не хочет. Рынок — как твой холодильник. Он хочет, чтобы его заправили, — Марк провёл карандашом по столу, соединяя две линии в одну. — Слушай дальше. Ты — самый большой игрок на Мидас-авеню. Не по деньгам — по массе. По количеству решений в секунду. Твой алгоритм — это твой гормональный фон, переведённый в ордера. Кортизол вверх — ордера дрожат. Дофамин вверх — ордера жаднеют. Тридцать восемь башен читают эти дрожания — не сознательно, а так, как читает море рыба: по течению. Они подстраиваются. Их алгоритмы подстраивают алгоритмы. И когда вся система сходится в резонанс с одним человеком…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.